

Она любит



Мы держим в ладошках мертвых рыб

Держись, кому говорю.

Вот так: подними руку и положи на черное, смутное, оно движется, но ты не обращай внимания. Это называется поручень — может быть, ты и помнил когда-то название, но сегодня приходится напоминать обо всем. Пусть под рукой трепещет, выворачивается, а ты знай себе держись — будто рыбку в ладошках держишь, а она бьется, задыхается, не умирает от сгущенного осеннего воздуха.

Бледненькое на черном — хорошо. У меня по контрасту рука красная, сильная. Держись крепко.

Не выпускай рыбку, ты знаешь, что ее нельзя выпускать.

Мы поднимаемся по эскалатору, но тебе, наверное, чудится, что и вовсе несемся, — для меня все медленно, а окружающие смотрят, тарашатся, а кто-то глаза отводит. И тогда хочу сама смотреть в глаза — нормальный он, обычный, нечего смотреть, это вам не диковинка,

не уродец. Может, они и не смотрят, а я придумала. Я часто придумываю о себе и о тебе разное, чтобы не так страшно было.

Уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что метрополитен — транспортное предприятие, связанное...

Ты вздрагиваешь, хочешь посмотреть на меня, но я давно сказала, что на эскалаторе оборачиваться нельзя, а то и упасть недолго, — слушаешься. Смотрю на твою спину — слабую, нежную, ты ступенькой ниже стоишь, не оборачиваешься.

Легонько глажу по плечу.

Не бойся, милый. Это не нам. Разве может быть такое, чтобы на нас так страшно кричали? Никогда не было.

Дальше не слушаем, о своем молчим.

А минуту только назад долго стояли в центре зала, и я думала, на удивление долго решая, в какую сторону идти: люди растекаются реками-потоками, не сталкиваются, проплывают мимо, а вот девочка в розовом парике, вот мальчик в белой рубашке, вот мужчина в плюшевом костюме животного с откинутой на плечи большой мягкой головой. Голова безглазая, мертвая.

Помню, как одна девочка пришла в таком костюме на семинар — подрабатывала на Арбате, а к двенадцати, к началу, прибежала. И серьезная была, говорила о чьей-то повести, о страдании, сочувствии. И ей не сказали ничего, не велели идти домой переодеться — как-то внешнее тогда вообще истаивало из разговоров, оставалась только литература, выращенные в горшочках герани, бальзамины и гортензии литературы, чахлые, невозросшие, а у кого-то красивые, яркие. Мне хотелось, чтобы и у меня были красивые. Только мало на них

внимания обращала, думала, что сами вырастут. И они росли — тихо-тихо, незаметно, но иногда посмотришь — светлые, зеленеют. И так радостно было.

У меня тогда шла восьмая неделя, и я думала о скорой боли. Хотя до нее далеко оставалось, но уже думала, что надо будет потом прийти в деканат, сказать, что хочу заявление на академический отпуск написать. Они там не любят такого — вроде как не для того поступала, чтобы потом с пузом ходить, но на справку от врача посмотрят, согласятся, никуда не денутся.

Может быть, ты и тогда успел почувствовать, как к горлу слезы подкатили, как я подумала, что хотела бы еще легкой походить, спокойной — не успокоившейся, а свободной.

Может быть, это я виновата, что сейчас мы на ощупь среди всех звуков метро движемся, медленно, изломанно как-то, застреваем на каждом шагу. И не один ты ногами шаркаешь, не торопишься, но и я тоже — томительная, нелепая.

Вот же глупость, как только вспомнить не могла? Ведь несколько лет же ходила, наизусть выучила дорогу. А в первый раз даже Тверской бульвар найти не сумела — вечно улицы уводили в другие места, разбегались.

А здесь — что? Здесь понятно.

Но потом вспомнила, что нужно идти в противоположную сторону от «Чеховской» — прямо найти направление, указывающее на нее, и пойти прочь, и тогда точно выйдешь к правильному эскалатору, к «Тверскому пассажи», к «Макдоналдсу».

— Милый, сейчас приедем. Ты знаешь, как нужно сходить с эскалатора?

Нельзя спешить, но и медлить тоже. Помогу, конечно. На руки не подниму, но руки не отпускай — легче будет. Сейчас. Готовься.

Нужно шаг вперед сделать, шажок — и ты на твердом, неподвижном. Я держу тебя за руку.

И все расплывается...

Могла ли подумать, что о нас?

Н-н-нет, говоришь ты, *н-н-не видно*.

И только тогда замечаю, что случилось. Ты все равно делаешь шаг вперед, но вытягиваешь перед собой свободную руку, будто опасаясь на стену натолкнуться.

Подожди, милый, надо очки поправить, они же сбились совсем. Нас люди обходят, в спины не толкают, хотя мы и задержались при сходе с эскалатора. Простите, у нас никогда еще быстрее не получалось. Когда я хочу, чтобы было быстрее, говорю тебе — мы рыбки, представь, что мы юркие маленькие рыбы, помнишь, мы видели? Тогда ты, ненадолго превратившись в такую рыбку, начинаешь спешить, но ловко, собранно. Потом рыбка умирает, а ты останавливаешься.

Я веду тебя к витринам «Тверского пассажа», всматриваюсь в лицо — очки в роговой оправе съехали на нос, наверное, поэтому ты еще в вагоне стал хныкать, тереть их, и вот теперь стекла заляпаны, плачешь громче. Сейчас вытру платочком, подождешь?

Ты моргаешь, вглядываясь в надвинувшийся туман. У мамы тоже такое: очки в роговой оправе, жесткие контактные линзы, что кипели в особом контейнере на плите, а потом царапали и раздражали глаза, потом мягкие силиконовые линзы, на которые не хватало денег, потому носились месяцами, пока вовсе не высохали.

Тебе пока нельзя операцию, потому что миопия прогрессирует, но только всегда держу за руку, чтобы смешанный смутный мир не напал, не обрушился. Ты не любишь не видеть, боишься. Может быть, из-за этого голова начинает болеть сильнее. Но когда она болит по-настоящему сильно — несколько раз в неделю, — ты сидишь в затемненной комнате и кричишь, если кто-то заходит, от самого движения воздуха кричишь.

Тогда мне хочется лечь на пол и лицом вжаться в вытертую светло-коричневую краску, в самую грязь. Потихоньку голова проходит, и ты сидишь бледный, вспотевший. Лекарства не действуют, а ты отчего-то и так не любишь таблетки, сразу выплевываешь. В больнице и не мучились: когда ты начинал кричать, сразу внутривенно вводили. Но я не научилась, да и страшно — у тебя и так руки были почерневшие, жуткие. Из-за них тоже хотелось лечь на пол.

Потому и билеты в Москву побежала покупать сразу после очередного приступа — надеялась съездить, пока не болит. А чего хотела? Ничего не хотела, разве что показать тебе метро, большие здания и памятники, мой институт.

Сейчас мы пойдем в место, где стоит много разных духов — флакончики и флакончики, и я надушу твои ладошки и предплечья, и рюкзак тоже, чтобы все пахло вкусно, чтобы на улице ветер долго не уносил, — а может, даже и домой увезем запах, нужно только постараться не растерять, идти с прямой спиной, высоко подняв голову. Сможем так?

И я показываю как, выпрямляюсь.

Не см-м-могу, отвечаешь ты.

Давай, пожалуйста. Ведь мы не зря есть, мы должны красивыми со станции выйти, там, на поверхности, — широкая улица, красивые здания, театры, в которых не были. Но все равно ходить надо так, словно были.

Ты перестаешь плакать, это так действует — мы не плачем, когда нужно идти с прямой спиной. Я хочу отвести тебя в «Тверской пассаж», но там нет никакого пассажа.

Витрины набиты картоном, и стоим перед ними вдвоем, и помню, как заходила перед парами, останавливалась возле пробников, красила веки пальцем под взглядами консультантов, потом брызгала на волосы *нар-сисо родригес*, выходила на Большую Бронную. И красивой шла в красной юбке из секонд-хенда, и так нравилась эта юбка-карандаш на скользящей подкладке, из-за которой вечно приходилось придерживать на бедрах, зато в ней и на каблуках-рюмочках была похожа на Литвинову, а теперь на кого?

Но я гоню мысль, поворачиваюсь — видишь, нам ничего не оставили, хотя уже пять лет прошло с тех пор, когда я в последний раз выходила на «Пушкинской».

Это там была на Литвинову похожа.

Двери остались. Двери тяжелые, их словно горячий воздух держит.

Запахи не ушли.

Запахи: нагретого металла, теплого воздуха, слежавшихся простыней, мочи, кофе, кожаных дамских сумочек, окропленных дождем. Дождем? А ты без капюшона, снова из-за сырости, от острых дождевых капель в лицо разболеешься, заплачешь — от грязи с бульваров, краски на карточках на проезд. Эти, красные, только приезжие

берут, а сегодня взяла и сама (а кто мы, если не приежжие?..). Зачем «Тройку» покупать, если на один день в Москве, уезжаем завтра? Хотя и стоило, может быть, — я считала-считала возле касс станции «Комсомольская», но так и не поняла. И забыла, можно ли будет вдвоем по одной карте пройти.

Пять лет назад, уже написав в деканате заявление, я подошла к мастеру и сказала, что я всё. Что всё, он спросил, ты что, собираешься домой вернуться? Думаешь, там будет лучше?

А здесь что будет; да вы хоть знаете *что*, хотела спросить, но промолчала, потому что он всегда как-то по-человечески относился, хвалил, говорил, что я непременно стану писателем, нужно только о том писать, что видела, вот о детстве, например, трудном, тяжелом детстве, но я не хотела.

И все, все кончилось. Мои гортензии выпали из рук, керамический горшок с голубой глазурью треснул и разлетелся, засыпав пол на «Пушкинской» черной землей вперемешку с керамзитом. Гранулы еще бусинками рассыпались — хоть на коленках ползай, собирай. Но я и на колени опуститься не могла, заледенела.

Я знаю, конечно, что умер он, мой мастер, умер два года назад, не вовсе же новостей не читала. Но ведь и страшно, если бы он спросил — ну что, написала ли о детстве, о трудном, тяжелом детстве? А потом бы посмотрел на тебя.

Не капризничай, пойдём.

Нет, я ничего не написала.

Ты упираешься, не хочешь навверх. Наверное, с твоей рыбкой что-то произошло.

Говоришь: *больно, не веди.*

Ты чего? Посмотри — вон и полицейский на нас обернулся с подозрением, ты что, хочешь, чтобы я тебя ему отдала? Хочешь? Ну ладно, ладно. Не плачь. Тебя не возьмет полицейский — вон он глаза отводит, будто увидел что-то стыдное, неприятное.

А что ты скажешь, если мы никуда не пойдём? Серьезно, не пойдём — если не к мастеру, то не к кому идти, а я просто хотела посмотреть; но не все ли равно. Лучше спустимся, встанем перед огромной красочной схемой, зажмуримся и ткнем пальцем наугад: какая станция выпадет — туда и поедём. Хочешь? А у меня все равно больше нет никаких гортензий.

Хорошо, милый. Мы сейчас снова спустимся, хорошо? Там тебе легче будет.

Думала, что ты испугаешься, но ты стал рыбкой между людей. Сейчас рыбка умерла, и ты остановился.

Никаких рыбок.

Никаких азалий.

Пять лет назад перед первой парой мне позвонила мама и сказала, что ты разбился на машине, что у тебя закрытая черепно-мозговая травма, что ты в коме и что — господи, за что нам, у вас же свадьба в сентябре должна быть, куда вы так торопились, диплом бы получила сначала, ведь недолго осталось, хотя никогда не понимала, зачем тебе он нужен, такой диплом, куда с ним, ты что, взаправду книжки писать будешь, и разве это настоящее дело, которое тебя прокормит...

Я прервала. Дело уже и не в свадьбе стало, не в том, куда торопились, — хотя мы торопились, я не хотела, чтобы живот был на фотографиях под платьем заметен.

Глупо. Что — фотографии. Я уже пять лет не фотографировалась, разве что на какие-то документы.

Я купила билет домой, пошла в женскую консультацию, взяла у них и выпила таблетку.

Мама даже не ругалась, кивнула — мол, теперь тебе точно муж не муж, никогда им не станет, так и ребенку незачем быть. А ребенка никакого не было, он давно выболел. Я тогда и не почувствовала ничего, потому что к невыносимому готовилась. Но болело терпимо, почти привычно. Два дня полежала, а после пришла к тебе в больницу.

Через пять лет я показываю тебе Москву. Ты еще не до конца освоился с палочкой, но тебе лучше, гораздо лучше: реабилитолог говорит, что скоро выработаются навыки самообслуживания, бытовые навыки. Про таблетку ничего не говорила; про литературу тоже. Пусть она тоже выходит из меня; может быть, и вышла давно.

Мы разворачиваемся, едем по эскалатору вниз, и я снова говорю: *держись*, потому что ты успел забыть и едва снова не заплакал при виде черного, движущегося, страшного; несем комнатные цветы, держим своих мертвых рыбок в ладошках, не выпускаем.

Внизу мы поднимаем головы и долго-долго смотрим на бронзово-белую огромную люстру, что всегда горит, но почему-то не спит глаза.

— Тебе нравится такое? — спрашиваю, хотя знаю, что ты теперь не различаешь красивое, а только больное, мягкое, колючее, теплое; но ты улыбаешься и киваешь.

Улыбка теперь на уровне моего лица, хотя еще пять лет назад приходилось подниматься на цыпочки, чтобы тебя поцеловать.

Ямочка

Крис, когда будешь писать стихотворение, начни с простой ямочки: сядь на бортик песочницы, поправь джинсовую юбочку, чтобы не впились занозы, потому что иначе до ночи вынимать придется, ковырять прокаленной на конфорке иголочкой, да так и оставить кроваво-синюшные пятнышки, которые будут затягиваться еще неделю, саднить под зеленкой, если найдешь ее в родительском шкафчике, где открытый грязный бактерицидный пластырь приклеился к пузырьку салициловой кислоты — не отдерешь.

Так, сидя на бортике, возьми детский совочек и аккуратно копни — неглубоко совсем, не нажимая, как будто руки слабые, тонкие, детские. У тебя и на самом деле такие, они не делаются большими и сильными, на них не растут мускулы, хотя ты и умеешь нести домой два пакета, полные еды из «Перекрестка» — печенья, молока и хрупких спрятанных яиц.

Так и выйдет, потихонечку песок расступится, рядом образуется горка, мокрая от вчерашнего дождя;

или потому что бродячих собак и кошек здесь никто не стреляет, не ловит, они ходят по дворам невозбранно, и по твоему двору ходили. Тогда ты еще никого не боялась; ничего.

На собак не обращаешь внимания, а на кошек смотришь — вдруг да и мелькнет похожий на твоего Гошу, умершего в свои шестнадцать, в твои двадцать четыре? И, как назло, множество таких, черных с белой грудкой, чтобы ты всякий раз думала, что именно в этого-то убежала-вселилась душа твоего, почему-то не допускала мысли, что окрас может быть другим. И вообще он мог стать не котом снова, а чем-то иным — камушком, листиком, стебельком; человеческим ребенком.

Нет, Крис, он не мог стать камушком, он был хорошим котом, а в камушки только наказанные за что-то перерождаются. Но ты все равно искала среди всех, а на неживое не смотрела. Его принесли, когда тебе было семь, и ты не спала, а тоже ходила все время, не занималась ничем, проводя последнее августовское томительное время среди погнутых турников, не возвратившихся с каникул подружек, тронутой предосенней желтизной листвы, уже потихоньку опадающей с нелюбимых тобой деревьев.

Тополей или лип?

От нечего делать к тебе подходит мальчик и не садится рядом. Тебе семь, ему тоже; на нем джинсовые чистенькие шортики, не дачные, новые, городские, в которых, конечно, в школу не пойдешь, а во двор, в котором котлован стали рыть в июне, а к августу только разрыли глубже и не закончили, — можно вполне. Наверное, ненадолго мальчика отпустили — через полчаса ужинать,

походи только, но не бегай, на рябинки вон посмотри, не пробуй, горьковато-неспелая она, а на ужин картофельное пюре с молоком, как ты любишь, и к нему две сосиски. И горка зеленого горошка для красоты.

Мальчик показывает тебе две конфетки *фрутеллы*, зажатые в кулачке, — кто ему дал перед обедом? Наверняка из своих запасов выковырял, может, с прошлого лета лежали в баночке, где копят монеты, найденные и подаренные, вырученные за зеленые бутылки из-под пива, — это если он собирал и сдавал, а не похоже, чтобы так. Это что еще, спросишь, скажет, что девочки в городском лагере с ним за это ходили к домам, за деревья. Ты не понимаешь сразу, зачем ходили.

Зачем они с тобой ходили, спрашиваешь, а он только сжимает кулачок обратно, приминает фантики. И не хотела вовсе, и противно из его рук — обертка чуть отклеилась, и он прямо розовато-персиковую поверхность трогал, мял, отчего она сделалась глянцевитой, скользкой. Как и разглядела за секунду только, что он показывал перед тем, как снова сжать кулак?..

Потом мальчик расстегивает джинсовые шортики, а там что-то, похожее на *фрутеллу* без фантика, розовое, белое, но ты почти сразу же отворачиваешься; не потому, что стесняешься видеть, а потому, что выходит так, что ты тоже должна отойти с ним к домам, где никого нет, где не увидят с балкона, тоже показать то стыдное, потому что иначе получится — ему одному себя стыдиться придется, а если двое, то вроде и ничего, ваш стыд один на другой наложится и уничтожится взаимно, ничего после себя не оставив. Разве что крошечки какие на песок и землю упадут.

Ты уходишь с ним под *тополя или липы*, под низкий балкон второго этажа, где всегда пахнет мочой и бывают рассыпаны неспелые абрикосы, — когда вы их находили, они успевали созреть, поэтому не считалось чем-то зазорным собрать, обтереть о футболки и съесть, представляя потом смерть от ядовитых, червивых, немых плодов. Но никто не умер, и ты потом жила, и живот не болел.

Там ты приподнимаешь платье и оттягиваешь трусы — всего на секунду, но там ничего напоминающего *фрутеллу*, поэтому мальчику неинтересно, он видит и не видит, оглядывается — как будто вместо тебя вот-вот придет кто-то настоящий. Ты собираешь крошки стыда на асфальте под балконом, где теперь никаких незрелых абрикосов.

Мальчик уходит первым, ты наблюдаешь, к какому подъезду спешит, но потом не хочешь смотреть, чтобы случайно не запомнить, а то ведь так и будешь ждать год, два года: вдруг выйдет и крошки стыда не посыплутся, не уколут ладони? Вроде бы всё собрала. И ямочку вырыла в песочнице чьей-то брошенной лопаткой — какого-то малыша, его увели давно, — и бросила крошки, и закопала, и прихлопнула сверху, утрамбовала. Никто не найдет. Потом только увидела, что мальчик сунул тебе в кармашек платья конфеты. Положишь в рот, будешь слюнявить расплзшуюся мякоть, не желая глотать. Так никогда потом и не сможешь проглотить.

Когда ты, двадцатичетырехлетняя, не дожدهшься во дворе своего мертвого кота, начни с простой ямочки: копни поглубже, вдруг там крошки стыда в пшеничные пышные хлеба обратились.

Мак

Снилось, что потеряла родителей в большом торговом центре — «Охотный ряд», несколько этажей, никого не найти; разгар дня, огромного и шумного, потому что туристы со всех сторон, звучат языки, которых не знаю. И когда пытаюсь позвонить папе — не набираются буквы:

ша

шва

шв

шла

Никак не ищется по фамилии, и не вспоминаю, что папа в телефоне не по фамилии записан, а во сне не догадываюсь. И номер телефона не вспоминается, и с каждым касанием садится батарея — вот уже красная палочка, и знаю, что потом будет.

В слезах хожу между магазинами просто так и вдруг вижу родителей, сидящих в кафе на белых диванах. Они не одни.

С ними моя бабушка, умершая в июле, и прабабушка, умершая очень давно, — помню только от нее

красный (темно-красный, в белых пятнышках?) халат с коротким рукавом, невысокий рост, темные, непоседливые волосы, забранные в хвостик.

Но они сидят вместе, у них какая-то еда в тарелках.

Я подошла, и они встали мне навстречу — у бабушки нет ноги, она ампутирована до колена, и я смутно вспоминаю, что так и должно быть, что так бы и произошло, если бы она не умерла. Удивляюсь только, что встает легко и никто на покалеченную ногу не смотрит, но не нарочно отводя глаза, а просто не замечая.

Обнимаю и в щеку целую, приготовившись к запаху — не знаю, как описать, ему имени нет, но скажем, это запах очень старой мебели в квартире, пыли, каких-то особых выделений тела, которых не бывает у молодых, но отчего-то ничем не пахнет, и от этого и странно, и легко, и не по себе.

А прабабушка встает не торопясь, выговаривает мне за что-то — не так оделась? не так разговариваю? — хотя смутно помню, что при жизни она ничего подобного не говорила ни обо мне, ни о маме, а тут что-то после смерти случилось.

И вдруг становится так обидно, что поворачиваюсь спиной, чтобы не видеть — и бабушек мертвых, и родителей, убегаю в туалет торгового центра: наверное, плакать.

Телефона нет. Наверное, забыла на белом кожаном диване, но как вернешься после того, что сказала?.. Возвращаюсь все равно, думаю, что смотреть осуждающе станут, — но никто, мама только показала, где телефон лежит. Да, на белом диване. Он тоже белый, потому и не заметила сразу.

ша

шва

шв

шла

куда шла

Все еще хочется набрать, чтобы отозвался кто-то — может быть, папа, который на меня не обиделся, все понял, *почему я не хотела рядом с ними садиться, я просто хотела всегда помнить:*

Как блестел обломок гребенки в волосах у прабабушки Марии.

Как ели блины из «Шоколадницы» со сладким маком — они лежали на тарелках, чернея рассеченным нутром.

Проснулась и не знала, кому рассказать.

«Титаник»

Прабабушке Мане все велико — потому швейная машинка дома стрекочет, не умолкая: подшивает брюки, а то все смеются — тебе, Маня, в детском отделе одеваться надо. И она бы одевалась, да только давно сама себе одежду не покупает, всё отдают.

Прабабушка Маня жарит в сковородке молочный сахар, печет пироги с брусникой, а другого сладкого здесь не едят, не покупают ни печенье, ни вафли, чтобы ее стряпню не обижать.

Что-то ты кашляешь, говорит она, сейчас горяченького налью. Долго гуляли.

Мы два часа бродили по роще, я мать-и-мачеху искала, а ветер северный, злой, крепкий.

А меня никакая хворь не берет, вдруг говорит бабушка, даже и забыла, какие они на вкус — лекарства-то.

Я пробую горячий еще молочный сахар, обжигая язык, потом встаю от нечего делать — бабушка мне до плеча.

Хочу подарить ей мой топик, футболку с «Титаником», — кажется, она ей до колен будет; ничего.

Катастрофа

Когда родители задерживаются на работе, Женя представляет себе автомобильную катастрофу. Их часто подвозил дядя на стареньком «Опеле», и мама с папой не пристегивались от стеснения, от дядино *да ладно вам, на заднем сиденье ведь*. Сидели, вцепившись друг в друга, с напряженными лицами. Дядя тоже не пристегивался, накидывал ремень для вида перед постами ГАИ.

Сегодня родители могли и на автобусе поехать, но Женя не останавливалась, все представляла. Еще десять минут — и нужно будет спуститься к таксофону под домом, купить в палатке жетончик — она только номер бабушки и помнит наизусть:

32-17-43

Когда-то мама велела запомнить, и она запомнила, а первое время хитрила — делала вид, что вспоминала, а сама выходила в прихожую и тихонечко открывала мамину записную книжку. Там и номеров было немного, а только:

ПАПА РАБОТА

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru